

Евсей
ЦЕЙТЛИН

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МОЛЧАНИЕ

Из дневников
этих лет



Евсей Львович Цейтлин
Перечитывая молчание.
Из дневников этих лет
Серия «Русское зарубежье.
Коллекция поэзии и прозы»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62779296
Перечитывая молчание. Из дневников этих лет:
ISBN 978-5-00165-186-4*

Аннотация

Евсей Цейтлин – эссеист, литературовед, прозаик. Автор многих книг. Среди них – «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», о которых почти четверть века говорят и спорят в разных странах (книга переведена на английский, немецкий, испанский, литовский, украинский языки). Сборник дневниковых новелл и эссе Евсея Цейтлина «Перечитывая молчание» по-своему продолжает «Долгие беседы...». Нобелевский лауреат Эли Визель называл советских соплеменников «евреями молчания». Евсей Цейтлин пробует «расшифровать» это молчание, многие годы записывая еврейские исповеди и сны. Вместе со своими героями автор погружается в их прошлые жизни, полные тайн, которые человек пытается, но не может забыть. Классик современной литературы Дина Рубина пишет в послесловии к сборнику

«Перечитывая молчание»: »Любая книга Евсея Цейтлина воспринимается как вселенная – судеб, чувств, мыслей и снов. Эти книги медленно читаются, потому что пробежать глазами их невозможно: каждый эпизод, каждое воспоминание и каждое лицо властно возвращает читателя к строке, к осмыслению, к внутреннему взгляду... Ни единой проходной мысли в книге, ни одного банального сравнения, ни одной расхожей судьбы».

Содержание

Одинокие среди идущих	5
Без языка	6
Еврейское счастье	9
Тем же днем – еще встреча	11
Деталь	13
Тот, кто остается	15
Снег в субботу	16
Истина	19
Фразы	20
Карта	21
Талант исчезновения	24
Вопрос	25
Пыль	28
Версия	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Евсей Цейтлин

Перечитывая молчание.

Из дневников этих лет

Одинокие среди идущих

У них было особое выражение глаз. А мне казалось даже – особый запах. И уж точно: особая походка.

Это походка одиноких людей.

Я сразу обратил на них внимание – много лет назад, когда только начал записывать рассказы советских евреев.

Иногда это был всего лишь легкий всплеск слов и жестов – сбивчивые, как торопливый выдох, исповеди в очередях у американского и нидерландского посольств (последнее, как вы знаете, долго представляло в Москве интересы еврейского государства), затем – израильского консульства.

Преодолевая страх, они приходили за вызовами и визами. И я запомнил их, с кем-то, вроде бы, подружился.

Но потом многие потерялись, куда-то исчезли. Только лица и голоса по-прежнему живут в моем блокноте.

Без языка

Неподвижное, окаменевшее будто лицо. С ним явно контрастирует надрывность речи.

– Вы не догадаетесь, за что я ненавижу общество «Память»... – Она делает паузу, но мне ничуть не хочется гадать. Все равно мне не придет на ум ее довод: – Не могу перенести, что вынуждена говорить на их языке!

Ловит мой недоуменный взгляд:

– Я не в каком-то переносном смысле – в самом прямом. Я общаюсь, мыслю, читаю, мечтаю – только по-русски.

Она истерична, в основном лишь себя и слушает. Все же, не будучи права, приближается неожиданно к истине.

– Они... они презирают меня. Самое суть мою презирают. А я вынуждена пользоваться их языком. Они твердят, что евреи спаивают русский народ, сгубили деревню, испортили культуру. Это демагогия? Но вот лучший их аргумент: я отвечаю им на их языке. Что у меня своего, еврейского? Действительно, пустоцвет, перекаати-поле...

Молчу по-прежнему, боясь согласиться с ней, по больному ударить. Хотя знаю: здесь почти все – правда... В голове ее, конечно, мешанина из прочитанных книг: Ремарк, Хемингуэй, Кафка, Булгаков... В разное время эти авторы были модны, каждым она увлекалась недолго. Но ведь скорее всего любит она – действительно, любит – Есенина: чувству-

ет надрыв души, что таится за бедными рифмами, за сравнениями типа: «голова моя машет ушами, как крыльями птицы». Вероятно, еще ей близки в Есенине безоглядность искренности, безотчетное стремление к исповеди.

В почтовом отделении на Большой Ордынке спрашивает меня:

– Нет ли у вас ручки?

И тут же, признав во мне своего, разъясняет:

– Надо написать собственные данные, чтобы прислали из Израиля вызов. Ведь и вы, не правда ли, пришли сюда за тем же?

Нет нужды объяснять ей что-либо. Просто мы вместе отправляемся к израильскому консульству, где она опускает в ящик свой конверт. Стоим потом в толпе. Вслушиваемся в повторяющиеся, как на пластинке, разговоры. Идем обратно к метро, вдыхая резкие запахи весны.

– ...В Израиль едут из-за детей, а у меня их нет и не будет...

Несколько коротких, внезапных, вроде бы, фраз. И вот уже ее жалкая, смятая, пролетевшая почти жизнь лежит передо мной.

Ей сорок девять, выглядит много моложе: так случается порой именно с теми женщинами, которые махнули на себя рукой. Черная резинка скрепляет пышные рыжие волосы. Ничуть не смущена она тем, что на синем плаще красуется

масляное пятно, а серые туфли исцарапаны по бокам.

Она преподает в ПТУ какие-то технические дисциплины. В последние годы, сама замечая за собой несдержанность, все-таки выучилась контролировать себя на службе: молчать, выглядеть деловой и собранной. Однако это трудно давшееся искусство растаяло, точно и не было, в феврале. Да, в феврале девяностого, когда в Москве и других городах томительно ожидали погромов.

В те дни, думая исступленно об одном, она пол-урока однажды проговорила об антисемитизме. Класс смотрел на нее с недоумением. И, конечно, донесли директору. Тот вызвал ее к себе, морщился, выдавливая слова, но не попросил, как ждала она, заявления об увольнении – попросил «не отвлекаться на занятиях от темы».

У метро прощаемся. Зачем-то обмениваемся телефонами, хотя ясно, что не позвоним друг другу никогда. И вот она уже исчезает в потоке ног и локтей, в запахах пота и продуктовых сумок, в гуле той речи, которая пока еще так ненавистна ей и по которой потом не сможет разучиться тосковать.

Еврейское счастье

Мокрый, уже с утра темноватый мартовский день. Гудящая – все та же – толпа. Она выплевывает одни и те же слова, точно шелуху от семечек: багаж... билеты... погром...

Как с неба, упало другое словцо: счастье.

Почудилось? Но и назавтра, и через день слышу завистливое: евреям хорошо сейчас!

Иногда утверждают это лишь интонацией, взглядом: русские, украинцы, грузины – все те, кого заносят сюда сладкие мечты об отъезде.

Ах, старый этот, с огромной бородой, анекдот! «Жена-еврейка: не роскошь, но средство передвижения». Слышали? Теперь за фиктивный брак по пять тысяч дают.

Все равно, конечно, вздрагиваю:

– Нам-то счастье...

На этот раз словцо, точно рахат-лукум, тает во рту молодого бакинского еврея. Улыбчив, польщен вниманием посторонних людей – они спрашивают подробности бакинского погрома.

– Нам-то еще счастье... Дали армянам всего год сроку для выезда из Баку, а евреям – три. Русским? Пять...

Не знаю, так ли это. Скорее всего, сроки выдуманы молвой. Но думаю я не о том, а об его унижительной радости. Древние у нее корни: поднимается порой дух еврея, если

оказывается он не самым презираемым, стоит не на последнем, но хотя бы так – на предпоследнем месте.

Тем же днем – еще встреча

Тоже двое бакинцев. Тоже молоды, более того – молодожены.

Издревле таинственный союз: армянин и еврейка. Соединившись, не побоялись они умножить вечную печаль своих народов.

Во время погрома скрывались неделю в азербайджанской семье, но все это слишком известно по рассказам беженцев, чтобы описывать сейчас подробно: трепет от каждого звонка в дверь; духота кладовки, где прятались, теряясь в догадках; наконец, билеты на самолет («заплатили в шесть раз дороже!»); сейчас, в Москве, – у дальних-предальних родственников...

– Что было бы, если б вас поймали? – спрашивает кто-то.

Он пожимает плечами – не желает ни на кого взваливать тяжесть своих слов.

Она отвечает:

– Самое малое – отрезали бы уши... Тогда нам это постоянно снилось – из ночи в ночь.

Она смотрит в сторону, зато все соседи по очереди – на нее. Хрупкая, миниатюрная. Несмотря на неустроенный быт, волосы тщательно уложены. Она изящна в черных своих ворсистых брючках, в кожаных белых сапожках, в белой нейлоновой курточке. Все это, конечно, ради него. Не зна-

ет она, что похожа на своих библейских сестер – наивных девочек, которые вырастали в мудрых старух. Но знает, вижу, другое: счастливые ее глаза неуместны здесь, в этой толпе. Потому часто опускает веки, пытается скрыть то, что все же открыто любому внимательному взгляду: нежность, решимость перехитрить судьбу, спокойное ожидание горькой, как у всех нас, дороги.

1991-й, очередь у американского посольства

Деталь

Как в двух словах нарисовать ее портрет? Грузна; пожалуй, даже величественна; давно ответила для себя на все вопросы жизни.

Именно такими и бывают часто старые еврейки.

Сейчас она твердит кому-то с глухой, непонятной озлобленностью:

– ... Нет, вы не знаете, какие хамы эти израильтяне! Вы и представить не можете... Они воспитали молодежь, с которой уж точно не построишь никакого будущего... Вы мне поверьте, мне достаточно только одной детали, чтобы увидеть целое.

Что сейчас для нее эта «деталь»?

Оказывается, концерт израильской самодеятельности, состоявшийся недавно в Вильнюсе. Если еще точнее – поцелуй двух юных артистов, мальчика и девочки. (В антракте они целовались «на глазах у всех» – сидя на скамейке, прямо у входа в зал).

Поговорив со старухой, я вполне понимаю ее раздражение.

Конечно, это обида на самое себя. Или на нелепость жизни? Вот уже три дня как она вместе с семьей сына подала документы в ОБИР.

1990, Вильнюс

Тот, кто остается

Но многие из них останутся. Лучше сказать: это останется их страх. Страх, однажды поселившийся в душе, победить трудно.

Когда-то Моисей приказал евреям, живущим в Египте, немедленно покинуть свои дома и отправиться в путь. Из рабства. В Землю Обетованную.

Чем была вызвана спешка? Вовсе не тем, что Моисей боялся преследования фараона. Он знал о другой опасности: чуть промедлишь и – передумают сами евреи.

...С Моисеем ушли из Египта только около двадцати процентов наших предков. Большинство – остались.

Снег в субботу

Сегодня пустынно здесь: суббота. Евреи сегодня должны думать о вечности, прогнав суету. На тротуар падает тихо снег. Прохожие редки, они не успевают – как в будни – превратить снег в хлопьящее месиво. Тепло. И милиционер у консульства не прячется в будку. Прохаживаясь у металлического барьера, он думает о своем.

Все же время от времени подходят люди. Прочитывают объявления на бетонной стене, которые странны именно тем, что стали теперь обычны: телефоны и адреса кооперативов упаковщиков, грузчиков, правила бронирования билетов, предложения о продаже и покупке квартир. Переписывают в блокнот необходимое, разбегаются – кто куда.

В полдень здесь надолго задержится старый еврей. Утренний поезд привез его из подмосковного городка. Ему сказали, что консульство работает ежедневно, и он, как почти все в России, забывший о законах еврейства, поверил. Не встретив никого, кроме милиционера, старик все не решается обратиться к нему. Наконец, спрашивает:

– Скажите, сегодня есть кто-нибудь из дипломатов Израиля?

– У них выходной... В субботу им не полагается заниматься делами... – роняет милиционер важно.

– Да, да, – переступает с ноги на ногу старик. И опять –

неожиданно, преодолевая себя:

– Мне сказали, здесь можно оставить свои данные для вызова на постоянное жительство...

– Можно, – подтверждает милиционер. – Если хотите, дайте мне, я опущу конверт в специальный ящик.

Старик молчит: ну как доверить такое гою, тем более – милиционеру. Тот поставлен органами, собирает, конечно, информацию; однако что делать? Неужели приезжать снова? Он вопрошающе смотрит на милиционера. Тому едва ли больше двадцати, у него ясные глаза, пухлые детские щеки.

Я стою к ним спиной, лицом – к стене с объявлениями. Оба они не обращают на меня внимания. Наконец, оборачиваюсь. И вот уже бросается ко мне старик – с радостью. Он сразу оценил характерность моей иудейской внешности. И заранее приготовленный конверт дрожит в его руке:

– Посмотрите, пожалуйста... все ли верно?

Чуть прикрывает ладонью – и от снега, и от глаз милиционера. Я замечаю прежде всего год рождения: 1910. Вижу также: на листке – одна фамилия. «Значит, и едет один». А мысли старика сейчас – о другом. Интересуется у милиционера процедурой оформления документов, отправкой багажа. Тот неожиданно оказывается в курсе всего (во время дежурств память, как магнитофон, зафиксировала однообразные разговоры людей). И почему-то теперь это не удивляет старика.

Так стоим, почти облепленные хлопьями снега. Потом

старик идет разыскивать что-то в пустых магазинах. Медленно, без лишних движений, скользит по снегу допотопными своими ботами, которые когда-то, лет тридцать назад, помню, называли «прощай, молодость».

1989

Истина

Мне всегда интересны антисемиты – их судьбы, их с годами крепнущая ненависть, их жаркая правда, в которой по-своему (но совсем иначе, чем у евреев) перепутаны логические связи.

В прибалтийском Калининграде, на Ленинском проспекте, идет навстречу мне старая женщина. В обеих руках – тяжелые сумки, на голове – берет, спереди и сзади на старенькое пальто опускается большой вязаный шарф. (Обычные, наивные попытки интеллигенции скрыть вопиющую свою бедность).

Замечаю ее издалека, вижу, как безжалостно бьет ноябрьский ветер маленькую фигурку.

Встретив мой взгляд, подходит ко мне. Остановившись, чуть опускает сумки и произносит, четко выговаривая слова: – ...А все-таки во всем виноваты евреи!

Высказав эту – сокровенную для нее – истину, женщина неторопливо идет дальше.

1989, ноябрь

Фразы

Приезжающие *оттуда* твердят в один голос: глазам своим не поверил, когда увидел: кругом – евреи. И я подтверждаю: чувство это ни с чем не сравнимо. Поверьте, дышишь по-другому! В буквальном смысле – там дышать легче. Ведь здесь мы так зажаты, скованы...

Кому принадлежат эти слова? Какая разница! Каждый раз их кто-нибудь да обронит в очереди. Кто-нибудь из тех, кто едет в Израиль во второй или в третий раз. Дама из Минска, воронежский парикмахер, пенсионер из Бельц...

Случается, однако, услышишь другое. С хохотком ли, серьезно ли:

– ...Хорошо в Израиле, да только слишком много евреев!

Фразы эти, в сущности, может произнести голос одного и того же человека. Конечно, в разное время, в настроении разном.

Попробуйте спросить: почему? Скорее всего, говоривший вам ничего не объяснит. И я сейчас промолчу: отвечать слишком долго. А задумавшись, вы и сами поймете, что сделали с нами два тысячелетия рассеяния.

1992, январь

Карта

Случайная, как почти всегда, встреча. Знакомимся с ним в одном московском доме, куда он приезжает прямо с вокзала, едва сойдя с саратовского поезда. У наших общих знакомых ждет его переданное с оказией письмо от израильских родственников. Ну, а там, в конверте, – легко догадаться: вызов «на постоянное жительство».

Я и сейчас хорошо вижу его. Вот сидит, развалившись в кресле-качалке: при неосторожном движении подсакивают резко вверх пыльные полуботинки на толстой подошве; мятые брюки, коричневые синтетические носки. Он нерешителен и оттого развязан нередко. Ставит его в тупик даже простой вопрос:

– Вам кофе?

Он понимает: это жест вежливости (хозяева торопятся куда-то), однако отказаться не может – выпивает две чашки, опустошает тарелку с бутербродами («Извините, возьму еще один». – «Ну, конечно, конечно»).

Еще больше он говорит. Слова плотно облепляют его, точно скрывают важное. Хотя скрывать нечего, уже через несколько минут все ясно. Разумеется, не знает он, почему все-таки решил уезжать: «Логике это не поддается». Наконец-то – в сорок два – защитил диссертацию, дали в институте должность старшего научного сотрудника, строит дачу.

«Антисемитизм, конечно, существует, но меня-то никто не трогал...»

Все это обычно, и я перестаю его слушать (не узнав ничего про родителей, с которыми он вместе живет).

Я слушаю песни Окуджавы, которые звучат из соседней – детской – комнаты, а смотрю на Б.

Можно было бы назвать его симпатичным, но рыжая густая борода совсем не идет ему, не вяжется с растерянным выражением глаз. Обычно борода придает лицу определенность, законченность какую-то, однако он – самое воплощение растерянности. Может, оттого и не уходит, засиживается до неприличия в гостях, что ждет инстинктивно подсказки...

Когда мы снова – случайно же – встречаемся на Большой Ордынке, Б. помят еще более. Живет в кооперативной гостинице (в комнате на четверых), несколько дней, видно, не принимал душ: в разрезе плаща проглядывает чистая рубашка, которую он достал из саратовского чемодана, но голова лоснится, а на воротнике плаща – перхоть.

У консульства он переходит нетерпеливо от группы к группе. А в глазах – все то же ожидание: кто-то – кто? – должен ответить на его сомнения.

Он рад встрече со мной (старый знакомый!) и вскоре приглашает перекусить в полуподвальном кафе. Мы идем туда долго: как всякий провинциал, Б. знает в Москве только несколько мест общепита. В кафе он водружает на поднос

две порции сосисок, тарелку булочек, два стакана некрепкого, на сгущенке, кофе. И беспрестанно опять говорит, точно не желая прислушаться к голосу внутри себя, а, может быть, как раз заглушая тихий этот голос.

После сидим на скамейке. Он закуривает и достает из портфеля карту Израиля, которую купил у спекулянта. По-детски шевеля губами, повторяет вслух древние названия. Я думаю: миллионы людей с трепетом произносили в течение тысячелетий те же сочетания звуков, которые для него почти ирреальны.

Наконец он замолкает и смотрит куда-то вбок от меня.

1990

Талант исчезновения

«Надо выжить. А чтобы выжить, надо быть незаметным. Вот урок, который усваивает тот, кого часто бьют... Еврею нужно носить маску, впитывать язык, необходимо быть актером, чтобы выглядеть таким, как все вокруг».

*

«Жизнь в диаспоре подобна участи лицедея: она приводит к тому, что человек «срастается» со своей маской, забывая, как выглядит его собственное лицо».

Раввин Адин Штейнзальц

Вопрос

Плотно, надежно летний вечер покрывает собой суету дня. Но вот в комнату, запыхавшись, влетает с улицы четырехлетний малыш. Ему необходимо выяснить и – немедленно:

– Мама, мы действительно евреи?

– Да, – только и успеет ответить.

Тут же хочет она спокойно, с достоинством пояснить: евреи – народ, как любой другой, все нации равны... Но сначала погладит сына по голове, прижмет к себе! Мальчик, однако, резко вырвется и, кажется, отбросит не только руку матери, но и произнесенные ею фразы. Интуиция ребенка точнее любых слов. Он чувствует главное безошибочно. Разобрал это главное по интонациям услышанных во дворе анекдотов, отдельных реплик, смысл которых не понял. Но он не сомневается, что не ошибся. И – боится, боится! Сам не зная, чего.

Все же сын с надеждой заглянет ей в глаза:

– Мама, неужели нельзя ничего поправить? Совсем ничего?

Разговор этот она передаст мне через пятнадцать лет. Несколько месяцев назад. И теперь я постоянно приглядываюсь к нему: какие выводы сделал для себя, когда понял, что «ничего нельзя поправить»?

Выводы стары.

Мальчиком он, к примеру, поражал всех своей щедростью: еще ходил в старшую группу детского сада, когда начал раздаривать все, что принято и не принято дарить. И дело не только в отзывчивости сердца: каждого встречного он хочет превратить в друга – во что бы то ни стало. И это ему удастся – удастся угадывать чужие слабости, входить легко в чужую жизнь. А два года назад он поступил на физический факультет университета и теперь уже делает серьезные доклады в студенческом научном обществе.

Формулирует ли он для себя свою надежду четко? Не знаю. Но угадываю ее: многочисленные друзья, научная карьера, а также карате, которым занимается с восьмого класса, помогут ему стать «не хуже других».

Раза два встречал его в кафе, в компании сверстников. Недолго, издали наблюдал – так, чтобы он не заметил меня, не смутился. Он был элегантен в обычной униформе моды тех лет – черной майке, брюках-«варенках». Был красив – все той же, одних раздражающей, других притягивающей красотой своего народа: матовая кожа, лучистые – серые, а временами голубые – глаза; смоляные, волнами волосы. Был раскован, весел, находил то и дело повод для шуток, однако, кажется, не был пошл.

Не странно? – спросил я себя. Ведь привык видеть его сосредоточенно погруженным во множество чужих и своих забот, тщательно отмечающим в маленьком блокноте исполне-

ние ежедневного плана. Конечно, он всегда составляет этот план сам, давно и ни в чем не советуясь с родителями, которых, не сомневаюсь, нежно, но чуть снисходительно любит: будто обладает недоступным им знанием. Потому он иногда выглядит раньше времени постаревшим – точно придавлен серьезностью и бесповоротностью будущего.

Впрочем, вспоминаю: когда звонит телефон, он первым поднимает трубку и часто преображается – кажется, резкий, зимний сибирский воздух врывается в двухкомнатную мало-метражку с низкими потолками. «Ну, так что там у нас?» – произносит бодро. Эти слова – невольный условный знак самому себе – знак, который должен вызвать точно такой же условный рефлекс.

Он отворачивается к стене и – чувствую это по голосу – становится веселым, легким, юным совсем человеком.

...Все-таки пока он еще такой разный, окончательно, до конца, не сформировавшийся.

Когда открывает мне дверь, я смотрю в его глаза: в них – неистребимая наша печаль, всегдашняя готовность евреев понять всех, со всем примириться, во всем найти свою правду.

Я жму ему руку и думаю: что он ответит когда-нибудь сыну на тот же старый вопрос?

Пыль

Она пробовала учить дочку моих родственников музыке, но потом – недели через две – отказалась. Промолвила презрительно:

– Я не привыкла получать деньги даром, а здесь нет и намека на способности.

Все это не имеет теперь никакого значения. Девочка, которую мрачная сила родительского упрямства все же заставила выучиться играть на фортепьяно, давно стала взрослой и – Пантофель была права – выбрала другую профессию. Наконец, позади уже остались долгие, похожие друг на друга годы: они ломали, старили, они вроде бы незаметно, но всегда жестоко испытывали нас.

Мы жили в одном подъезде: наша семья – на пятом, она – на первом этаже. Почему однажды я напросился к ней в гости, а потом стал бывать у нее – не часто, но регулярно? По возрасту годился ей в сыновья. Общих интересов у нас не было. К тому же она встречала меня скорее неприветливо, чем радушно.

Сначала мне казалось: я прихожу к Пантофель из-за острого ее языка, не щадящего никого и ничто. Однако вернее другое: в самой интонации ее речи, в ее жестах, в воздухе ее маленькой квартирке я неосознанно, но очевидно разли-

чал тяжелое дыхание судьбы.

– Слушаю... Ах, это вы...

Пантофель недовольно бурчала в трубку и – неизменно приглашала в гости.

Только теперь начинаю понимать ту сумятицу чувств, что туманом окутывали ее. Она была рада мне, хотя и потом, при встрече, говорила с той же усмешкой, чуть цедя слова. Разумеется, рада: наконец-то могла прямо, безжалостно высказать свои утаенные мысли – те, делиться которыми с русскими знакомыми ей не позволяло достоинство.

– Евреи – это пыль, – с вызовом повторяла Пантофель.

Она ничуть не сомневалась, что ее утверждениям не нужны доказательства, но все же порой развивала свое сравнение:

– ...Вы не задумывались, почему *их* всюду ненавидят? А ведь все так просто! Народ, как и любой человек, имеет срок жизни и должен умирать вовремя, а не путаться под ногами у молодых. Евреи же... Они давным-давно отжили свое и теперь мешают всем: хитрят, подлаживаются, втираются, куда только можно... Ну как же надоела их извечная скорбь, их претензия на всезнание, предвидение: все уже было, было, было... А человек до всего должен доходить собственным умом! Мы не зря не любим тех стариков, что только предостерегают, наставляют. Выто, разумеется, знаете: у японцев это старичье раньше просто отводили в горы, на кладбище – подошел срок, пусть умирают там. И правильно!

Она энергично прерывала свой монолог; бывало, лишь махнет рукой: и так, мол, все ясно – «пыль, только пыль...»

Сидела передо мной прямо, как старая балерина, по привычке не позволяющая себе расслабиться в кресле. Поза Пантофель точно отражала суть ее странного существования. Иногда я думал: как и зачем она живет, если из всего, что когда-то беспокоило и терзало ее, осталась одна ненависть – чем-то еще согревающая ее ненависть к собственному народу.

Правда, помню, однажды Пантофель недоуменно спросила меня и – должно быть, в который раз – себя:

– Пыль... А что, собственно, такое пыль? Почему она возникает и, прежде всего, там, где живет человек? Не замечали: в комнате, из которой все выехали, пыли почти не бывает?

Об этих скрытых, а потому особенно сильных, будто сжатых пружиной молчания, чувствах Клары Пантофель никто не подозревал. Конечно, в музыкальной школе, где она до самой пенсии заведовала учебной частью, подметили: к ученикам и преподавателям – евреям – Пантофель особенно строга: не выискивает специально недостатки, однако никогда их не прощает. Думали, это обычная у евреев болезненная предусмотрительность: вдруг упрекнут в солидарности со «своими»?

Но я не сомневался: Клара Пантофель давно уже ничего не боялась.

Вспоминая о ней, вдруг замечаю, что невольно избегаю описаний. Например, описания ее однокомнатной квартиры, где все походило на районную поликлинику – было чисто, но безлико; или описания ее одежды, также лишенной индивидуальности; или того, как она неизменно угощала меня зеленым чаем: «Это полезно!»

Думаю сейчас о другом. Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так уж таинствен, непонятен, как порой кажется. Это противоестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного судьбой человека. Однажды он начинает ненавидеть соплеменников, которые якобы виноваты в его неудачах и несчастьях, а иногда – странно абстрагируясь – не может уже выносить самого себя.

Конечно, в основе антисемитизма Клары Пантофель тоже было отчаяние – сгустившееся в душе одного человека отчаяние нескольких поколений.

Она никогда ни на что не жаловалась. Только из многих наших разговоров (в сущности, случайно) я узнал о судьбе ее родных. Деда до революции растоптали погромщики в Кишиневе. Отца и мать забрали в тридцать седьмом как врагов народа (Клара в это время уже работала после окончания консерватории в Сибири).

Почему она не вышла замуж? Разумеется, никогда ее об этом не спрашивал, хотя еще на моей памяти она была до-

вольно хороша собой. Но невозможно было представить кого-то рядом с Пантофель: все ее существо излучало отталкивающую, испепеляющую любого нормального человека энергию.

Таким образом ее вовсе не оригинальная теория вызрела медленно, в одиноких раздумьях. В мире все справедливо, рассуждала она; если уж сама жизнь выталкивает евреев, значит, они должны уйти.

Кто же у нее все-таки был?

Я знал, что иногда ее навещала бывшая ученица – всегда меланхоличная старая дева; та считала своим долгом «оказывать помощь», а Пантофель язвительно высмеивала ее печали.

Однажды летом я познакомился с сестрой Клары Михайловны, тоже уцелевшей в тридцать седьмом и в войну. Она вернулась из эвакуации в Минск, выучилась на инженера, имела сына и пьяницу-мужа, но радость жизни находила во всевозможных экскурсиях.

Клара Пантофель на всю жизнь осталась хрупким подростком. А сестра ее оказалась породистой шатенкой: она рассказывала мне о своих поездках, играя блестящими глазами, достав блокнот, где были аккуратно переписаны все ее маршруты. Так говорят о любви, не замечая банальности ситуации.

Через год любительница путешествий умерла от скоротеч-

ного рака. Сообщив об этом, Пантофель не плакала. Все ее мысли теперь занимал племянник. Тому исполнилось двадцать шесть; не помню, где он работал, но, помню, учился заочно в институте и собирался жениться.

– Только бы не взял в жены еврейку, – тоскливо заклинала Пантофель. – Наши внуки должны быть счастливы.

После смерти ее сестры мы встречались гораздо реже. Я подумал: наверное, эта смерть окончательно убедила Клару Михайловну в правоте ее жизненной философии.

– Простите, я занята, – и в телефонной трубке раздавался щелчок.

Как-то, придя к ней, сразу заметил перемену: она вся вдруг как бы подсохла, сморщилась. При этом судьба по-прежнему смеялась над Пантофель – теперь она походила на еврейку все больше и больше. Всегда сжатые тонкие губы обрамляли глубокие морщины – следы неизменной усмешки. Резко выделялись на лице глаза, форму которых принято сравнивать с миндалем.

Во время нашего разговора она – видимо, по привычке – страдальчески взглянула в зеркало. Я понял: она пугалась отражения. Она презирала собственное лицо.

И, наверное, потому почти перестала выходить на улицу.

Пантофель похоронили торопливо, как хоронят всех одиноких людей.

Когда мы возвращались с кладбища, ее племянника уже

ждали представители домоуправления: надо быстрее освободить квартиру, туда должна заселиться мать-одиночка с двумя детьми, а вещи... их ведь можно пока перенести в пустующий, через несколько кварталов, сарай? Вряд ли это была только забота о несчастной женщине, скорее – опасение: как бы приезжий еврей не начал химичить, не попытался сам занять жилплощадь.

Через день я случайно увидел, как дворник и некий дюжий парень (видимо, друг новой жилицы) перетаскивали скарб Пантофель. Они решили составить все у подъезда, чтобы потом, разом погрузить вещи в машину.

Разворачиваясь, грузовик переехал кресло, в котором так любила сидеть покойная. Кресло разлетелось на несколько частей, пружины резко распрямились и вытолкнули из темного чрева охапки скатавшейся пыли.

Версия

Они притягивали меня своей загадкой еще тогда, раньше, когда его официальная биография была совсем уж скупа. Обычные еврейские глаза за большими стеклами очков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.